

Всякому городу нрав и права,
Всяка імієт свой ум голова,
Всякому серцю своя єсть любов,
Всякому горлу свой єсть єкус каков...

НАВЕРНОЕ, каждый из нас — хоть краем уха, хоть однажды — слышал если не сами эти строки, то хотя бы что-то про них, а также про их автора, включая заведанную накануне смерти эпистафию для могильного камня на его последнем пристанище, собственноручно вырытом им за день до смерти: "Мир ловил меня, но не поймал". Однако всё — смутное, далёкое и несколько странное, как сама жизнь и даже сама фамилия Григория Саввича Сковороды (22 ноября (3 декабря) 1722 г. — 29 октября (9 ноября) 1794 г.). Слава "странствующего" или "бродячего" философа закрепилась за ним ещё при жизни, в которой он, не имея ни семьи, ни имущества, ни постоянного места жительства, "мандрував", то есть путешествовал (или даже скитался) между Малороссией и Украиной. Сейчас такое различие наверняка будет выглядеть странным, но тогда оно было реальным и никаких вопросов, особенно на бытовом уровне, в тех краях не вызывало: Малороссией считались земли, находившиеся или ранее бывшие под властью и законами Речи Посполитой, а Украиной — земли, с начала XVI века, после русско-литовской войны 1500–1503 годов, выделяемые московским царём для жительства и хозяйствования на условиях "слободы", то есть целого комплекса послаблений и льгот, массово переселявшемуся из Малороссии под его царскую руку православному населению — крестьянам и казакам.

Впрочем, слово "Украйна", уже как синоним "герцогства (гетманства) Русского", фигурировало и в тексте Гадячского договора 1658 года между гетманом Войска Запорожского Иваном Выговским и представителями короля Яна II Казимира, согласно которому и вопреки решению Переяславской рады 1654 года земли Войска Запорожского возвращались в состав Речи Посполитой с превращением последней из государства двух народов (польского и литовского) в государство трёх народов (польского, литовского и русского)... Сковорода родился в семье рядового и мало-земельного казака Чернухиной сотни Лубенского полка, созданного в 1648 году в составе Войска Запорожского его гетманом Богданом Хмельницким и восстановленного в 1658 году гетманом Иваном Выговским после подписания упомянутого выше Гадячского договора. По отцовской линии род Григория Сковороды далее самого Саввы, чьё отчество остаётся неизвестным, достоверно не прослеживается. Известно только, что в официальных списках Лубенского полка, датированных XVIII веком, значились и другие люди по "прізвищу" (фамилии) Сковорода, то есть это "прізвище" досталось будущему философу не от самого отца, но как минимум от деду. Известно также, что многие родственники Григория Саввича по отцу, включая двоюродного брата, игумена Иустина Звяряку, принадлежали к духовенству, в связи с чем достаточно широко распространена версия о том, что Савва Сковорода был священником в церкви села Чернухи. Прямых подтверждений этому нет, но то, что и сам Григорий, и перед этим — его старший брат Степан были отправлены на учение не куда-нибудь, а в Киево-Могилянскую академию, данной версии не противоречит. Со стороны матери — Пелагеи (Палажки) Степановны, в девичестве Шангиреевой, — генеалогическое древо "странствующего философа" выглядит намного богаче и определённое: крымско-татарский род Шан-Гиреев (Шангиреев, Шангиреевых) весьма заметен в отечественной истории, а тот факт, что Григорий Сковорода впоследствии нередко гостил в Северной столице у жившей там семьи Полтавцевых, родни по материнской линии, достаточно хорошо известен и задокументирован.

Впрочем, все эти генеалогические и дальнейшие биографические подробности представляют интерес лишь в той мере, в которой интересна сама фигура Сковороды, при жизни не издавшего ни строки своих произведений. А интерес этот бесспорен, хотя всё время оказывается вызван разными и как будто не слишком существенными причинами, так что на конкретную среду, на конкретное время и пространство приходится совсем немного от Григория Саввича. Он всегда и везде — не в фокусе зрения, не в центре событий, всегда и везде — где-то на периферии, на обочине, но... Если проводить неизбежные аналогии с его фамилией — не в центре праздничного стола, а где-то среди кухонного инвентаря, чьё необходимо и обязательное присутствие в доме подразумевается, хотя почти никогда не выставляется напоказ.

МОЖНО МНОГОЕ ГОВОРИТЬ о философских и религиозных взглядах Григория Сковороды, о его поэзии и прозе, о стиле его жизни и разных случаях из неё, но если попытаться всё-таки свести эти многочисленные

рассеянные туманом времени лучи даже не в фокус "здесь и сейчас", а к их всё-таки единому источнику, то обнаружится весьма неожиданная и — во всяком случае, на мой взгляд — величественная картина.

Внимательно прочитайте и вдумайтесь в такие строки: "Преходит образ мира сего и, как сон вставшего, уничтожается... с более ярким разъяснением в ином месте: — Если бы младенец мог мыслить во утробе матери своей, то можно ли бы уверить его, что он, отделившись от корня своего, на вольном воздухе приятнейшим светом сол-

Георгий Судовцев

ца наслаждаться будет? Не мог ли бы он тогда думать напротив и из настоящих обстоятельств его доказать невозможность такого состояния? Столько же кажется невозможной жизнь по смерти заключённым в жизнь времени сего..."

То есть Сковорода через образ рождения затрагивает важнейшую тему человеческого бытия не только от рождения до смерти, но и смерти как второго рождения, перехода из телесного существования в духовное, и, следовательно, — существования в этом мире как подготовки перехода каждого человека к жизни в ином мире. И уже отсюда им ставится цель совершить этот переход правильно, без потерь, а значит — в максимально полном соответствии со своей внутренней природой, своей истинной сущностью, своим "я". Немного упрощая — в гармонии своего духа, своей души, своего тела, собственного триединства, принципиально несводимого к следованию каким-то единым, обязательным для всех и каждого законам и правилам. В этом отношении кажется очень лёгким построить "мудрования" Григория Сковороды в ту философскую линию, которая идёт от Сократа с его "Познай себя!" (которому оказывается соразмерен призыв Сковороды "Будь собой!") через учение Лейбница о "монадах" к персонализму и экзистенциализму, но при этом не утрачивая непрерывного взаимодействия с христианским тезисом о "жизни вечной" через "стажение Святого Духа", да ещё в несколько "августиновской" его трактовке как Бога-Любви, соединяющего пространства двух "наибольших в Законе" заповедей: "...возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим" и "...возлюби ближнего твоего, как самого себя" (Мф. 22:37–39).

Но ведь понятно, что тем самым для любви к Богу и для любви к ближнему своему нужно возлюбить ещё и самого себя — причём не в данности своей "здесь и сейчас", а в полном своём развитии, в реализации своей "самости" в этом мире, который внешне прекрасен, но испытует, "ловит" человека на приманки богатства и власти, дающие только призрак счастья вместо счастья истинного, ад вместо рая. Да и сами они, эти приманки, суть не более чем призраки, привлекающие только тех, кто уже согласился заполнить ими своё сердце, предназначенное к радости и любви.

"Глава дел человеческих есть дух его, мысли, сердце. Всяк имеет цель в жизни, но не всяк главную цель, то есть не всяк занимается главою жизни. Иной занимается чревом жизни, то есть все дела свои направляет, чтобы дать жизнь чреву; иной — очам, иной — волосам, иной — ногам и другим членам тела; иной же — одеждам и прочим бездушным вещам; философсия, или любомудрие, устремляет весь круг дел своих на тот конец, чтоб дать жизнь духу нашему, благодетельству, светлости мыслям, как главе всего. Когда дух в человеке весел, мысли спокойны, сердце мирно, то всё светло, счастливо, блаженно..." "Радование есть цвет человеческой жизни... оно есть главная точка всех подвигов; все дела каждой жизни сюда текут..." И плотское, тленное — "пепельное", по определению Сковороды, — сердце человека при его физическо-й жизни должно развиваться, преобразоваться в живое внутреннее сердце, необходимое каждому из нас для правильного своего "второго рождения"... "Человек есть сердце. Мир сердцу!"

"Он говорил весьма исправно и с особливою чистотою латинским и немецким языком, довольно разумел эллинский, почему и способствовался сими доставить себе знакомство и признать учёных, а с ними новые познания, каковых не имел и не мог иметь в своём отечестве..." — сказано в первой биографии "странствующего философа", написанной его учеником и воспитанником Михаилом Ковалинским, где отмечается, что во время

обучения в Киево-Могилянской академии Григорий Сковорода проявил не просто блестящие, а выдающиеся способности, причём во многих сферах сразу.

ПЕРВЫМ ОКАЗАЛСЯ востребован его певческий и музыкальный талант: в конце 1741 года он был официально зачислен в придворную певческую капеллу только что взошедшей на престол "дщери Петровой" императрицы Елизаветы, где и числился до 1744 года, заведая определённые знакомства и связи в высших кру-

гах российского общества (вплоть до такого же выходяца из казачьих "низов" Малороссии Алексея Розума, фаворита императрицы, ставшего графом Разумовским и генерал-фельдмаршалом Российской империи).

Но с придворной карьерой у молодого Григория Сковороды не зашло: то ли по внутренним, то ли по каким-то внешним причинам, которые, скорее всего, навсегда останутся неизвестными. Так или иначе, во время поездки императрицы в Киев он оформил возврат в киевскую альма-матер, получив звание надворного (придворного) усташника, то есть фактически личное дворянство, и "паки начал учиться". Примерно к этому времени относится смерть отца Сковороды, а также начавшееся в 1745 году и продлившееся около пяти лет пребывание за границей — при своём земляке и близком друге Алексее Разумовском генерал-майоре Фёдоре Вишневском и его сыне Гаврииле (который считается одним из возможных учеников Сковороды и чей сын впоследствии женился на Ульяне Томаре, сестре Василия Томары, также бывшего учеником Сковороды). Официальной (но, понятно, что далеко не единственной) целью миссии была закупка токайских вин для двора императрицы Елизаветы, и в её рамках Сковорода пользовался достаточно большой свободой, посещая различные города империи Габсбургов и, возможно, близлежащих германских государств, и делая визиты ряду проживавших там деятелей науки и культуры. Стоит напомнить, что в эти годы шла охватившая весь континент Война за австрийское наследство (1740–1748 гг.), а Российская империя выступала союзницей дома Габсбургов и правившей тогда Королевством Великобритания Ганноверской династии против Франции и Испании. Так что эти годы неизбежно сыграли немалую роль в формировании взглядов и в дальнейшей судьбе Григория Сковороды, получившего возможность ознакомиться с широким кругом европейских знаний и проблем того времени.

Данный факт необходимо учитывать при оценке фигуры Григория Сковороды в целом. Ведь, по сути, он сумел, не находясь в прямом контакте и постоянном общении со светилами тогдашней европейской (а значит, и мировой) науки и культуры первой величины, но всего лишь по отражённому и рассеянному свету от них, сделать важные выводы о "духе времени" (Zeitgeist) и "духе места" (Ortgeist). Как выяснилось впоследствии — важные не только для себя.

Возможно, сравнение Григория Сковороды с Иммануилом Кантом (а они были и современниками, и даже соотечественниками — в 1758–1762 годах, во время Семилетней войны, когда Кёнигсберг находился под властью Российской империи) покажется надуманным и произвольным, но — хотя бы в контексте не "звёздного неба над головой", а "нравственного закона внутри нас" — оно окажется более чем насыщенным смыслами. Очень упрощая, можно сказать, что основная "линия Канта" ведёт к представлению мира через его анализ, к "исчислению" имманентной "вещи в себе" через трансцендентные "вещи для нас" — в то время как основная "линия Сковороды" ведёт к представлению человека через его синтез, к пробуждению "внутреннего человека" через оживление "человека внешнего" и его "пепельного" сердца. Кант жил "по часам", Сковорода — по видимым лишь ему вехам своего жизненного пути. Кант стремился знать как можно больше, Сковорода — быть счастливым насколько возможно. И речь здесь должна идти не о том, чья "линия" более правильная — речь должна идти о том, чтобы у человека была возможность выбора. И в том, что такая возможность выбора не исчезла, заслуги Сковороды неоспоримы. Если Кант дал человечеству "Критику чистого разума", то можно сказать, что Сковорода дал "Критику чистого сердца" или "Критику чистой совести".

СОГЛАСИТЕСЬ, с учётом вышесказанного при-ведённые в качестве эпиграфа стихотворные строки Григория Сковороды: и свои каждому городу "нрав и права", и своя каждому сердцу любовь, и свой каждой голове ум, и даже свой каждому "горлу" вкус — приобретают иную глубину, иное качество. Ведь за каждой из них стоит реальная жизнь их автора: никакого затора "поэтического вымысла" между словами и делами, между поступками и убеждениями практически не обнаруживается.

Например, известно, что Григорий Сковорода был, выражаясь современными терминами, вегета-

тива, дарованного ещё литовскими князьями в конце XV века и подтверждённого при вхождении гетманства в состав России. Что поневоле ставит под вопрос предположительную датировку этого стихотворения 1758–1759 годами.

"Всяка імієт свой ум голова" — в этой строке Сковорода, как принято считать, "оттолкнулся" от известного латинского афоризма "Quot capita, tot sensus", то есть "Сколько голов, столько и мнений", но — только оттолкнулся, поскольку не просто фиксирует факт "многомыслия", но прежде всего признаёт право каждой "головой" на собственный "ум". Это вовсе не учёная, а вполне созвучная народной трактовка. (Сам связан с теми местами, и такую, например, фразу родного деду: "Я ж ему на плечи свою голову не пришью", — запомнил навсегда. Кстати, и "любов" у Сковороды — тоже не ради рифмы или вследствие безграмотности, на Слобожанщине до сих пор так и говорят, не смягчая коленную согласную: "Постав!" вместо "Поставь!" или "Насыли!" вместо "Насыли!" Впрочем, о том, что значит "своя любовь" для "каждого сердца", здесь уже сказано. — Г.С.)



рианцем, то есть не ел ни рыбы, ни мяса, ни яиц, но зато и не держал посты, в том числе православные, свободно употребляя молоко и молочные продукты, в особенности любил такой деликатес, как итальянский сыр пармезан, который ему присылали, в том числе из-за рубежа, богатые знакомые и друзья. Хотя на протяжении многих дней и даже недель мог обходиться сухим хлебом и водой. Вот он, "всякому горлу свой вкус есть каков".

Что касается утверждения "всякому городу нрав и права", то в нём усматривается не только и даже не столько яркая поэтическая метафора, сколько отклик на указ Екатерины II от 20 октября 1775 года "О присоединении Киева к Малороссии", согласно которому "мать городов русских" была лишена магдебургского

Та вот, завершается эта 10-я песня как раз таким обращением к смерти:

Смерть страшна, замашная косо!
Ти не щадил і царських волосов,
Ти не глядши, єди мужик, а єди цар —
Все жереш так, как солону пожар.
Кто ж на єя плієт острую сталь?
Тот, хто совість, как чистий хрусталь.

Григорий Саввич Сковорода остался звучать в веках хрустальным голосом чистой совести.

Иллюстрация: портрет Григория Сковороды. Художник Анна Егорова. 2007 г.

Печатается в сокращении, полный текст — на сайте zavtra.ru

Михаил Кильдяшов

О новом романе Александра ПРОХАНОВА

РУССКАЯ ИСТОРИЯ — это слияние разнородных потоков времени. Есть потоки явные, зримые, сложившиеся из общезначимых событий и свидетельств, а есть скрытые, потаённые, о природе которых большинству не станет известно даже спустя десятилетия, а то и века. Тайну не откроют ни рассекреченные документы, ни запоздалые открытия, ни труды проницательных историков.

Но это таинственный временной поток ощущает каждый, он не даёт покоя ни гению, ни обывателю. Кажется, скрытое отделено от зримого плотной тканью, и судить о скрытом можно лишь по кольчужной завесе, только через это можно угадать действующих лица, что по ту сторону, можно угадать демилургов истории, её истинных управленцев.

Писателю дано особое видение: порой он способен прозревать то, что скрыла завеса. Нечётко, размыто, гадательно, но он видит инобытие истории и очерчивает, отливает, выковывает его в образы.

Герой нового романа Александр Проханов — меч, что единой осью прошёл через все русские временные пласты. Этот меч вынимает из ножен богатырь Добрыня Никитич, настоереженно глядясь в даль. На этот меч опирается Александр Невский и сулит от него побед тем, кто придёт к мечу как иноземным мечом. Этот меч падает на выю бунташного казака Емельяна Пугачёва. Этим мечом шестирылый серафим рассекает уползшего по ту сторону, чтобы вложить в неё "ульм, плающий огнём". Неведомыми путями меч оказался на постаменте того, кто вознёс над Лубянской площадью. Если перевернуть меч рукоятку вверх, то в нём можно разглядеть замысловатый трилистник — неуязвимый лист империи.

НА НОВОМ РАСПУТЬЕ истории меч оказался вверен капитану сребропалатности Сергею Максимовичу Листовидову. В его имени, облике, судьбе, как в памятке Дзержинскому, воплотились нечто высокое, величественное, максималистское, острое. Спасённый в детстве неведомой дланью от смерти, он с той поры ощутил себя носителем какого-то важного смысла. Его жизнью управляло пока ещё неясное предназначение. После нескольких успешных спецопераций Листовидов стал своим среди разведчиков, основавших "орден меченосцев": они помнили и острую борозду "железного Феликса", и пронзительный взгляд сквозь пенсне

того, кто даже после ареста и расстрела у многих не "вышел из доверия".

Меченосцы посылались не в тыл врага, а в тыл самой истории, выявляли каждого, кто вероломно пытался перехватить её рычаги. Меченосцы пробаивали тромбы времени, когда назревал застой, считали своей задачей отсекал всё помертвевшее и прививать всё жизнеспособное. Их меч вырубал бесплодные смоковницы и охранял лозы плодные. Меченосцы убедили Листовидова, что служат не генсекам, а непреложному Государству, которое в разные периоды лишь меняет одежде. И если вырвать меч — становой хребет державы, всё неминуемо разрушится.

Новая задача возлагается на Листовидова в эпоху советских дворцовых переворотов, в пору "текучки генсеков". Из прежних агентурных донесений капитану известно, что в стране нарастают антисоветские настроения, известно, как дискредитируются, осмеиваются её главные символы: "Развенчаются герои Гражданской войны и Отечества. Хохохот над Чапаевым, иронизируют над "панфиловцами". Ленин стал комическим персонажем, Сталин — чудовищем. Власть зовут "воровской", армию называют "кровавой". Военно-промышленный комплекс нарекли упырем, пыющим кровь экономики. Госбезопасность — "союз палачей". Пока всё это выглядит подспудным, замаскированным, не проникает в умы большинства, но, как невидимая радиация, всё же постепенно распространяется в обществе.

Листовидову предстоит собрать "атлас аномальных явлений", определить толпику идеологического подполья. Для этого он разными путями внедряется в общности "инкомислящих", выявляет подрывные точки, спусти инородных сил.

Советские инженеры-оборонщики, способные создать оружие, что достигнет не только Америки, но и Луны. Они в своих изобретениях, как поэты в стихах, обгоняют время, прозревают будущее. Листовидов становится свидетелем испытания новой ракеты, которая с высокой точностью поражает условную цель в виде старого советского танка. В общем ликования, в голововкружении от успеха Листовидов ощущает странную тоску, когда видит растерзанную машину с негодной доливкой прежде броней, будто удар пришёл не в танк, а в нечто огромное, могучее, но теперь уже слабо защищённое. В узком кругу те, кто во время испытаний выглядел державниками, вдруг произно-

сятся кромольные речи, предьявляют суровый счёт и партии, и гэбистам, пророчат скорый бунт армейских генералов.

Кружок творческого андеграунда. Писатели и художники со справками из психдиспансера, среди которых не разобрав по-настоящему болящих, симулянтов и сорисимулянтов. Кажется, в их творениях расцвели все цветы зла, вырвалась наружу русская тьма, где брат готов идти на брата, сын — на отца, где каждый готов истязать самого себя до смерти. В этой среде возникает портрет "героя нашего времени": "Хомо советикус" с лицом олигофрена. Сначала к нему прикладываются, лобзуют его, а потом в безудержном шабаше метают в него ножи, замарывают испражнениями. И вновь Листовидов чувствует, что страдает нечто большее и беззащитнее.

Кружок православных интеллигентов. Они грезят о возрождении Святой Руси, о восстановлении чудотворного образа России. Они не могут простить советской власти разрушенных церквей и надорванных коллективизацией деревень. Но как только заходит речь об историческом идеале, о том, какую именно эпоху предстоит реставрировать, в непримиримый спор вступают язычники и православные, старообрядцы и никонианцы, поборники Ивана Грозного и Петра Первого, имперцы и русские националисты. Прошлое вырывается в настоящее и раздирает его на части, сея зёрна новой междоусобной брани.

Кружок еврейских интеллигентов. Они рвутся за израильской черту оседлости, им тесно на маленьком клочке земли, что отведён для них на Ближнем Востоке. Их озабочивает не столько, сколько трёх океанов. Они готовы полностью заселить её богоизбранным народом, потомками Моисея, собрать еврейский конгресс. Готовы бросить все силы и средства, чтобы демонтировать утвердившуюся на этой территории советскую страну. В ход пойдут еврейский капитал, еврейские смех и плач, еврейский танец, способный закружить ветра истории и породить новую русскую революцию.

Партия фашистов. В стране, сломавшей паучью свастику, нашлись те, в ком прижился арийский дух, кого пленил "сумрачный германский гений". Они хотят опоясать Советский Союз кольцом Нибелунгов, подменить победную ось русской истории осью "Ост-Вест". Они потаённо сажат в подмосковной роше дуб, надеются вырастить священное древо нового Рейха, отчего в земле ш-

велятся кости советских солдат. Перед посадкой Листовидов вместе со всеми целует жёлудь, но его поцелуй — не благовоительный, а умерщвляющий: фашистскому дереву в русской земле не быть.

Комсомолцы, что энергичными молодыми волками вгрызаются в горло компартии. "Партия, дай порулить!", — казалось, робко однажды попросили они, но теперь уже никогда не отдадут штурвал. Их курс — к светлому будущему, но исключительно для самих себя: туда, где будут приватизация, виллы, яхты, неизбывные комфорт и роскошь. Демонтаж всех былых смыслов комсомольцами уже детально продуман.

Подполье оказалось таким укорённым и разветвлённым, что Листовидов видит свою страну зажатой в тиски. "Аномальные явления", собранные для атласа, проступают отовсюду: из творческих подвалов, интеллигентских квартир, научных лабораторий, властных кабинетов. Их обитатели, подобно пассажирам босхianского "Корабля дураков", пытаются уплыть в неведомом им самим направлении, но дерево Державы, проросшее сквозь корабль, не пускает: с остервенением они точат необъятный ствол, ломают ветви.

ЛИСТОВИДОВ ощущает себя читателем советской империи. Он принимает на себя направленные в неё удары: он подбитый танк, портрет осквернённого советского человека, русская земля, в которой шевелятся кости воинов. От пережитых атак на теле разведчика проступают синяки, сыпь, его голову мучает нестерпимая боль.

Рядом с Листовидовым появляется таинственная спутница Варвара Волховитина. Социолог, волхв и вития одновременно, она защитила диссертацию на тему "Социология закрытых общественных групп". Она вхожа в любое подполье, всюду своя, нигде не вызывает подозрений. С её помощью Листовидову удаётся собирать необходимые сведения. Варвара видит его постоянное измучение и муку и, словно Феврония, врачует его раны. Именно она даёт ему понять, что в подполье, в тёмных чуланах и сотворяется история, ломается хребет русского времени: "У истории нет помоек. Через эти кружки история себя обнаруживает. Не на партийных съездах, не на космодромах, не на стройках коммунизма. История обнаруживает себя в шорохе чуланов. Через чуланы происходит обнажённый электрический провод, по которому течёт ток истории".

Варвара Волховитина — яркий пример так любимого Прохановым женского образа, возникающего во многих романах. Кочующая роза: возлюбленная, что так же внезапно исчезает, как и появлялась, сначала поманит красотой и ароматом, а потом больно уколёт шипами, оставит незаживающий след. Это та возлюбленная, потеряв которую значит потерять всё мироздание. Любовь Ли-

ЗАВЕСА ТАЙНЫ между явным и неясным временем разорвалась.

И уже невозможно понять, где заканчивается роман и начинается жизнь, где автор ставит точку, а где читатель, знаящий, что будет совсем скоро, не может убраться от собственного знания реальных событий. Дзержинского цепляют металлическим тросом и срывают с пьедестала, словно вырывают меч из деревянной колоды. Постамент превращается в эшафот, уготованный для истории. Из окна кабинета на Лубянке кто-то, очень похожий на Листовидова, едва сдерживается, чтобы не взять снайперского винтовку и не начать стрелять по безумно лжующей толпе. Ему слышится, будто сдавленный металлической петлей Дзержинский успел прохрипеть: "И братья меч вам отдадут". На опустевшем постаменте одни красными буквами напишут "Палач", другие замажут меч белым крестом и оставят надпись: "Сим победили".

В очарившейся тьме приживутся все болезни, адаптируются все паразиты. Но в какой-то момент, рассекая тьму, возникнет невысокий силпост, станет приближаться пружинящая поступь: левая рука, как метроном, задаёт ритм русскому времени, правая — прикажата к бедру, придерживает "бриллиантовый меч государства".

Александр ПРОХАНОВ

МЕЧЕНОСЕЦ

РОМАН

РАСПЛАВЛЕННЫЙ СВИНЕЦ

СТИХИ

16+

Реклама
Книгу можно приобрести
в День-магазине:
+7 (499) 350-17-79,
pochta@den-magazin.ru,
день-магазин.рф